

Очерк «Есенино» был написан в 1926 году. Впервые опубликован 1 сентября 1926 года в «Известиях Саратовского Совета рабочих и крестьянских депутатов». В настоящем альманахе печатается по книге «Мы родом из Алпатьева. Исторические портреты семьи Дроздовых». Иерусалим – Москва: «Филобиблон», 2014. – с. 137–143 (в нашей публикации мы полностью сохранили авторский стиль).

Данный очерк является малоизвестным свидетельством встречи автора, А. М. Дроздова, и других писателей-эмигрантов с С. А. Есениным в Берлине, а также – поездки в село Константиново (Есенино) и встречи с местным священником Иваном Яковлевичем Смирновым – «отцом Иваном».

Выражаем благодарность племяннице А. М. Дроздова Ирине Анатольевне Дроздовой-Терской, а также зарайскому краеведу Нине Константиновне Букринской – автору книги «Таланту земляка поклоняюсь» – за помощь в опубликовании настоящего очерка.

В. Когтев, краевед, г. Луховицы Московской области



ЕСЕНИНО

I

Едешь нашими просёлками и думаешь: хмельной человек прокладывал их. Напрямик, полями, от станции до Есенина вёрст шесть, извилистым, как Ока, просёлком – одиннадцать.

Пусть отдохнёт лошадь. Комкаю в руках носовой платок, которым отёр спалённые щёки. Он влажен и сер: густа пыль рязанских земель, упорна и въедлива.

Какое нескладное, длинноулицее, голое село, где впервые пропел свои песни даровитый и беспутный друг наш, друг нашей плодовой поэзии!

Церквушка, помнящая восемнадцатый век, по-

дымает из рябин невысокую, дряхленькую колокольню цвета запечённого яйца. Её купола пьяны от времени, шатнулись в стороны и покривели. Доживающая век кликуша, она видна издалека, с жирных заволжских лугов, на которых голубыми блюдцами лежат неподвижные озёра.

Голое, скучное село. В двадцать первом году здесь прогулялся пожар и спалил дотла восемьдесят один двор – в том числе и двор Есениных. На пожарище выросли трёхконные избёнки, они жмутся одна к другой, они голы под солнцем, нигде не видать ни одной кудлатой ветлы, ни одной берёзы-щеголихи – голая длинная улица, и посреди неё, в золотистой пыли, рассолодели на солнце, расхрюкались свиньи.



«Отец Иван» – священник с. Константиново
И. Я. Смирнов у своего дома.

Я попрдержал лошадь у церковной ограды. Против ограды, как и подобает тому, дом священника, сам он сидит на крылечке и щурит на меня глаза, прикрывая их от солнца ладонью. Он очень, очень стар, согнут, как корень векового дуба, у него кой-где, у висков, словно речная пена, белеют скудные остатки волос, и весь он похож на библейского старца: вот ведь подите – есть что-то иудейское в орлином его носе, в свядших от старости щеках!

Он машет мне рукой. И, трудно ворочая параличным языком, говорит как знакомому:

– Самоварчик-то на столе. Жалуйте.

Дряхлый поп этот соскочил с забытых страниц Елеонского или Гусева-Оренбургского. Родом он из Спасска, рязанских земель, но говорит по-вологодски, на «о», видимо, из кокетства. О чудачествах его, по части самобытнейшего гостеприимства, я насылся побасенок немало. Бывало, в базарные дни выйдет на крыльцо и зазывает к самоварчику первого по дороге проезжающего. Дом всегда полон гостей, а того, как величать их, сам хозяин подчас не знает. А то, бывало, едет по уезду инспектор народных училищ – редкий гость. Поп во все школы окрест разошлёт письма одного содержания: не заедете, мол, так кровно обидите. И в каждой школе получает инспектор по такому письму. Я пишу здесь о константиновском священнике, потому что дом его был вторым домом Есенина. Мне показывали комнатёнку, отгороженную от горницы ситцевым пологом, где поэт обитал. На двери сохранились строки стихотворения, на-

писанные есенинской рукой. Самого хозяина, Ивана Яковлевича, называл Есенин вторым отцом.

Наша беседа с Иваном Яковлевичем за ведерным самоваром – нет дна деревенским таким самоварам! – двухчасна и во многом любопытна. Старчески кокетливо окая – это оканье недавно объявилось у Ивана Яковлевича, года три, – с трудом ворочая параличным языком, хочет он сказать многое, и говорит, и подвигает мне тем временем масло, хлеб, мелко наколотые кусочки сахару. Разливает чай местная учительница, и поминутно примыкает к нашей беседе дочь Ивана Яковлевича, на глазах которой Есенин рос.

Очень жарко, терраска, на которой мы сидим, тесна, низка и похожа на клетку для канарейки. Зелёным пламенем горит на солнце сад. Рассказ хозяев о поэте прерывист, неувязчив и перебоен – так говорят о том, кто мил сердцу. Мужики, односельчане поэта, – те говорят ещё растрёпанней. Но неучёсанные слова эти схожи с взмахами кисти по рисунку. Лишний мазок оживляет лицо, и живей горят от него золотые есенинские кудри.

II

За селом крутой скат. И под ним – Ока. И за Окою зелёным раздольным половодьем лежат поёмные луга. Там, на горизонте, в зыби густого воздуха, виден сосновый бор, путь которого не тысячевёрстен, а возраст вековой, бор, переходящий в леса муромские и брынские. Отсюда, с села, различимы красные фаланги стволов и над ними синяя хвойная крыша.

Родина Есенина.

Мужики говорят о Есенине охотно с тем рязанским краснобайством, которое ненадёжно, как омут: правда здесь подчас тонет в легенде. Это потому, что теперь, после своей обидной смерти, Есенин сделался в глазах односельчан легендарным. И также потому, что пришли в избу-читальню журналы с его портретами, с некрологами, потому что село стало известно на весь Союз.

Но рассказы их, по своей сути, очень близоруки. Две темы. Одна казённо-хвалебная и касается исключительно Есенина-мальчика. Парнишка был смыслённый, бойкий, до учения жадный, мыслью шустрый. Другая тема добродушно-поричательная. Это уже Есенин последних лет. Запивоха. Буян. Скандалист. В Константиново Есенин наезжал нередко, привозил товарищей, пьянствовал – но писать уходил в избу на задах, писал, как крот, зарывался в нору, не любил чужих глаз. Об этом в селе не рассказывают. Но о пьяных проделках его сказок много. И о том, как привёз ящик шампанского, а мужикам не понравилось, вылили в Оку, перешли на самогон – ананасный первач. И о том, как ругал власть советскую.

Другого о поэте я здесь не слышал.

Когда Есенин начал писать? Этого не установишь.

– Скрывался, – говорит Иван Яковлевич, – а писать, видно, начал сызмала. В этом был стыдлив.

Понятно, не сохранилось ни одного лоскута бумаги с его стихами, ни одной ученической тетради. Об известности Есенина мужики слышали, но верили мало. Был он для них всё тот же Серёга-Монах.

И отец по кличке Монах, и мать – Монашка, а дочери – Монашенки. Кличка эта повелась от прадеда, который с посохом обходил монастыри, кланялся иконам явленным и святости монашьей, Россию знал по монастырям, всю жизнь собирался уйти за белые монастырские стены, да так и не собрался. Но кличка осталась.

Теперь, когда наезжали сюда шефы, навезли книги, выписали газеты, переименовали Константиновское в Есенино – дом Есенина в почёте. Но недвусмысленна судьба крестьянского поэта. Его не знают. Стихов его не читали. Только в местных частушках, которые сейчас собрала для печати младшая сестра Есенина, Екатерина Александровна, творчество его проложило явственный след.

Отец и мать очень радушны. Мать моложава, скупа на язык, но ласкова той хмурой ласковостью, которой пожилые крестьянки отличны, отец в обращении прост и словоохотлив. На каждого, приезжающего к ним, они смотрят как на человека, которому в силу вещей надо оказывать гостеприимство.

Они ведут вас огородом. В огороде садик. За садиком избушка на курьих ножках, свидетельница последних есенинских вдохновений. И жёлтый ласковый пёс на цепи.

Когда иду селом, улица пуста. Возят навоз на поля. Голая, бездеревая, унылая улица. Встретившийся старик молчаливо снимает картуз, долго смотрит на меня – его глаза выпиты старостью и серы, как просёлочная пыль, – он спрашивает:

– Из товарищей Сергея будете?

Я говорю, что знал Есенина.

– До царя доходил, – произносит старик строго, – до самого царя Николая. Во дворце стихи читал. Как скинули царя, так и запил. Через то и погиб.

Прогноз несколько неожидан.

Мы знаем последние годы Есенина. Они на живой памяти у нас. Его злая боль, его кидливое бродяжье. По пьяному буйству его и сложилась на селе слава.

Говорить о родине поэта – говорить о нём самом, каким он был на ней. Летучие характеристики эти заново здесь.

Ивану Яковлевичу и дочери его говорил:
– Я вас люблю и уважаю. Вчера не пришёл, потому что пьян был. Я не хочу к вам пьяным ходить.

– А ты не пей.

– А что мне остаётся делать? Я всё на свете видал, везде был: и в Америке, и в Европе.

– Не везде был. Вон в Деднове не был.

– В каком Деднове?

– А в селе за Окой.

Он задумался. Потом сказал понуро:

– Правда не был. И не хочу. Не интересно. Мужики – свиньи. Не понимают стихов, и не нужны они им.

Он никогда не читал стихов в деревне. Любил петь.

IV

Клавдию, другу детства, среди глухой ночи обливаясь слезами:

– У меня чахотка. Я скоро помру. И ты скоро помрёшь, Клавдий. Ведь мы там встретимся? встретимся?

Успокоившись:

– Я буду тебя там ждать.

V

Любил вывести из терпенья баб. И шутил иногда зло. Набирали солдат в армию, над деревней висел заунывный, длинногосый, причётливый бабий вой. Плакали, как над покойниками.

Ночами, когда стихало село, он пробирался в чужие дворы и голосил протяжно, по-бабьи. За это собирались бить.

VI

Прошлый год. Свадьба двоюродного брата. Есенин приехал из Москвы. Был хмелен и буйно весел.

Взял у сестры платье, вырядился девушкой, длинные женские натянул чулки. Ходил переряженным весь вечер, в одних чулках месил жирную деревенскую грязь. Забрёл в горницу, переполненную гостями, подошёл, качаясь, к дочери Ивану Яковлевича, стал просить, чтобы пела.

– Пой русскую песню. Печальную. И я буду петь. Девки, пойте!

– Зачем женское платье наддел?

– Разве плохо? Нынче хочу девушкой быть.

И много в тот вечер плакал. Он вообще часто плакал в последние годы. И мне, когда я слушал рассказ об этом вечере, вспомнился свинцово-нахохленный Берлин с оловянным небом, вечер, моя комната на Фри Потсдам-штрассе, и Есенин на письменном столе. Ноги не достают до пола, на нём светлая тройка, крикливый галстук, в глазах муть. Он мне сказал тогда:



С.А. Есенин в Берлине

– Наданы мне баварский национальный наряд. Надену.

– Зачем?

Ничего не ответил. Взял телефонную трубку и очень долго, путаясь, кричал в неё:

– Фюнф унд фирк фиркцихь... нонкцихь... унд!..

VII

Это летучее заграничное воспоминание наводит мою память на ряд других. Кто-то в одной из статей о Есенине высказал мысль, что Есенин ровно ничего не вынес из своих зарубежных скитаний, ничего не увидел, ничем не поразился, ничего не открыл там не только своему сердцу, но и простому любопытству. Очень верно. Он пробежал по загранице, как по скользкому, до яростного блеска навощённому паркету – разве только слегка закружилась голова.

Чужестранцем обошёл французские, немецкие и американские перекрёстки, но и родина приняла его как чужестранца. Вот здесь, на улице села, перекрёщённого в честь его имени, среди константиновских изб, прожогов и плетней, он ощущал то же злое, горькое и неотвязное одиночество, которым болел под чужим небом. Вспоминая маленькие эпизоды из жизни его за границей, странно думать, что они могли иметь место и здесь, что разнилась бы одна лишь обстановка.

Первое появление Есенина в гуще эмигрантской литературной чащобы. Есенин только что прилетел с Айседорой Дункан на аэроплане, его ещё качало. Был очередной вечер в Доме Искусств, затянном в Берлине Минским.

Мраморные столики, кельнеры с пузатыми кружками, из которых, как сбитые сливки, вылезает пузырчатая пивная пена. Ждали Есенина.

Он приехал поздно. То была пора его имажинистской славы. По эмигрантским задворкам ходили шепотки о его московском уличном удалстве. Есенин появился с Дункан, окружённый не большой кучкой безвестной человеческой мелкоты. И уютным круглым шариком покатился к нему навстречу улыбающийся Минский. Я помню эту тишину, упавшую на столики немецкого кафе, и эти вытянутые шеи, и задержанные дыханья. Как в цирке, на прыжке смерти.

И Есенин прыгнул.

Руки его, обтянутые рукавами светлого пиджака, взметнулись над огородом голов. Были белы его кудри в свете электрических люстр. Он запел «Интернационал», и жидкие голоса немногих подхватили. Он дирижировал «Интернационалом». Это было неслыханное кошунство. Утроба эмигрантщины заурчала. Раздались свистки. Я видел, как вспотел лоб квадратного, похожего на мешок, Гессена, который терял уже в ту пору славу свадебного генерала эмиграции.

Пение оборвалось. Есенин вскочил на стол. Стихи. Он читал:

*Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым...*

И ещё, о хулиганстве своём. Он читал, как умел читать – прекрасно. Свист усилился. В чопорном кафе на Ноллендорфплатц, в Доме Искусств тишайшего из тишайших Минского, разразился скандал. Репортёрчик из «Руля» с кулаками у скул насканивал на совслужащего из торгпредства. Подбитым ястребом метался Минский, пытаясь развеять упавшую бурю.

Гессен демонстративно поплыл к выходу, действуя круглым плечом, как идейным тараном, жестоко поблёскивали золотые его очки. Многие из правоверных ушли за ним. Зал пустел.

VIII

Мне случилось однажды наблюдать Есенина исподтишка. Он только что вернулся из Америки, подбитый душой. День был скверный, мозглый, дул продувной ветер. В Тиргартене стучали сучья.

Есенин медленно шёл улицей, рассеянно глядя в толпу. Его движения были лунатичны. Тело как-то окисло. Он остановился, намереваясь, видимо, пересечь улицу. Но тут же забыл об этом.

Он вспоминал долго и мучился тем, что забыл. Потом растерянно махнул рукою, отошёл и сел на влажную от дождя ступеньку магазина, блистающего пышными своими витринами. Какой-то немец здесь же сказал ему, что сидеть нельзя. Он с болью посмотрел на немца, послушно встал и пошёл в никуда, как говаривали имажинисты.

Здесь я его окликнул...

IX

Когда я ехал сюда, в деревню, я несколько раз спрашивал встречных, далеко ли до Есенино. Ни один человек не ответил сразу. Только двое догадались, что я ишу деревню, где жил Есенин.

Так в расшатавшейся своей жизни Есенин спрашивал многих, как ему спастись, потому что спастись он хотел мучительно. И лишь немногие догадывались, что он не потому потерян, что пьян, но пьян потому, что потерян...

Из Есенино уезжаешь с чувством пустым. Голая скучная деревня среди роскоши приокских земель. Она ни о чём не говорит, никого не напоминает, не хранит никаких следов. И здесь, среди сородичей и односельчан, не имел Есенин корней. Заплутавший путник искал торной дороги, но её не угадывали глаза. Возвращался к отцовым могилам, но молчали холодные замшелые плиты.

Пора ехать и мне. Голая пыльная улица – долгий ряд тесно сжавшихся трёхкоконных изб. И посреди улицы часовенка с шатнувшимися куполками. Её куполки – как вехи есенинского большого пути.

1926 г.

